Amicus Plato, sed magis amica veritas 1. I

ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО МОСКВЫ

День жаркий, ветреный, удушливый. Повсюду пыль столбом. В вокзале Николаевской железной дороги шум и суета. По платформе бегают, словно на пожаре, роняют дорожные мешки, зонтики, пледы, перчатки, рассыпают запасенную в дорогу провизию. Два кренделька и печеное яйцо катятся к лаковым блестящим ботинкам какого-то пожилого щеголеватого господина, который отпрядывает от них, как от ядовитого змеиного жала. У иногородних путешественников, забравшихся сюда спозаранку и уже успевших сделать десятка два верст взад и вперед по зданию, на лицах ясно написано угрюмое неудовольствие; движения их порывисты, речь раздражительная. Некоторые (холерики) еще все ходят взад и вперед, хотя уже через силу, но большая часть уже окончательно умаялась, присели по скамейкам и беседуют. Они успели перезнакомиться друг с другом и ведут разные разговоры, пересыпая их едкими замечаниями о Петербурге.

— Ну уж Петербург, признаюсь! — говорит довольно округлый дворянин другому, сидящему с ним рядом на скамейке, менее округлому дворянину, который в ответ язвительно кривит рот и пожимает плечами.

— Ведь это, знаете… ведь это просто… Позвольте спросить, как имя и отчество?

— Владимир Ильич.

— Ведь это просто, Владимир Ильич… просто какое-то бесчеловечие! Лед-с, лед! Везде лед! Я к этому не привык, и я

поражен! Никто тебя не замечает! Ведь решительно не замечает! Словно тебя нет.

— Меркантильный дух! Здесь важны туго набитые карманы, а не человек! — с прежней язвительностью замечает Владимир Ильич.

Третий дворянин, в мрачном расположении духа сидящий на соседней скамейке, перегибается в сторону разговаривающих и вмешивается в разговор:

— Люди, можно сказать, мельчают, вырождаются в таких центрах, как Петербург. Постоянно поглощенные мелкими заботами, они не имеют досуга углубиться внутрь себя, обозреть свой внутренний мир и сосредоточиться на задаче жизни.

Он говорит это плавно, протяжно, выдержанно, останавливаясь на запятых и точках, и тем благосклонным, но не допускающим возражений тоном, каким часто говорят привыкшие к почтительным слушателям магнаты-помещики. Он не говорит, а, так сказать, "глаголет".

Дворяне, к которым он обратился, по его манере глаголать тотчас же догадываются, что он немалая птица, и несколько торопливым хором бормочут:

— Да. да!. мельчают... вырождаются...

Наступает молчание и длится несколько минут.

Вбегают три иногородние путешественницы. Они одеты по последней петербургской моде, но, с непривычки, все на них топырится. Они беспрестанно обдергиваются. Шляпки у них

несколько на сторону, глаза округлились до последней невозможности, дыхание прерывается. Они то мечутся из стороны в сторону, то толкутся на одном месте.

— Ах! — вскрикивает вдруг, точно уколотая иголкою, одна из них.— Где мой палевый платочек? Куда я его заложила? Ах! я его, верно, забыла там, на окне в гостинице! Поль, Поль, Поль! ты не видал его там?

— Кого? Кого? — тревожно спрашивает подбежавший с узлами Поль.

— Варя, ты не видала? Лиза, ты не видала? Ах! надо поглядеть, нет ли где… Ах, боже мой!

И все три путешественницы торопливо отпирают мешки и принимаются судорожно в них ворочаться, пока восклицание "вот он!" не кладет конца этому мучительному занятию.

Поль отходит несколько в сторону и тоже начинает проверять свой дорожный мешок и сумку.

Две другие иногородние путешественницы, давно уходившиеся от волнений и в изнеможении почти лежащие на балюстраде, отделяющей платформу от вагонов, услыхав, что соседи что-то потеряли, тоже принимаются отмыкать мешки, тоже лихорадочно в них роются, затем тревожно ощупывают свои карманы, пересчитывают деньги.

— Люба! пятидесяти не хватает! — с ужасом шепчет одна.

— Что ты! что ты! Пересчитай получше! — отвечает вспыхнувшая тревогой Люба.— Нет ли в кармане? Встряхни платок!

Встряхивают платок и снова пересчитывают деньги.

Скоро восклицание удовольствия показывает, что тревога фальшивая.

Из вокзала на платформу выбегает новый расстроенный отряд иногородних обоего пола, чрезвычайно живо напоминая "толпу взволнованных граждан", которая высыпает из-за кулис на сцену при драматических представлениях. Воспоминание о сценических "взволнованных гражданах" еще делается живее, когда раздаются хоровые восклицания, то резкие, крикливые, то сдержанные, шипящие.

— Опоздали! Опоздали! — хотя жалобно, но с достаточной яростью восклицает коренастая, черноглазая, по всем ухваткам властительная мать семейства, бесцеремонно поддавая в окружающие ее посторонние бока мощными локтями и стремительно порываясь вперед.— Я так и знала! Я так и знала!

— Я нарочно поставил по пушке! — доносится справа чье-то уверение.— Ей-богу, по пушке!

— Ах-ах-ах!

— Не толкайтесь!

— Невежа!

— Господи! наказание какое!

— Да еще час целый до отхода!

— Ах, извините!

— Боже мой!

— Понятно, что все стала забывать,— шипит злостный мужской голос,— наслушалась "женского вопроса"!

— Любинька! Любинька! — пронзительно, как свист в ключ, проносится материнский клич.— Où êtes vous? Où êtes vous? 2

Остается всего полчаса до отхода поезда. На платформе давка и смятение так увеличиваются, что издали представляются только расколыхавшиеся волны разноцветных шляп, фуражек, шляпок, шапок и ярких вуалей.

Эти кипящие волны все чаще и чаще начинают перерезываться спокойными, хотя и быстрыми течениями петербуржцев и петербуржанок.

Истые петербургские жители спокойны, хладнокровны; все у них в порядке: и одежды, и физиономия. Они являются как раз вовремя, ловко, не спеша занимают лучшие места в вагонах, насколько возможно комфортабельнее усаживаются и смотрят из окон на мятущуюся по платформе толпу.

— Где наши вещи? — раздается в разных концах.— Билеты! билеты! Через двадцать минут отходит!

Толпа словно отливает к багажной. В багажных дверях начинается давка.

Очень молодой человек, отлично одетый, после тщетных усилий протиснуться сквозь стену прижимающих локтей и плеч вырывается, наконец, весь измятый, обратно на платформу,

где очень раздражительно встречен тоже отлично одетой молодой дамой.

— Наконец-то! — говорит молодая дама.— Пойдем, уж, верно, все порядочные места заняты!

— Да я не мог билета на вещи получить!

— Как не мог получить? Как не мог… Это уж из рук вон! Это…

— Да что ж я буду делать? Меня чуть не задавили… Говорят: ждите очереди!

— Говорят: ждите очереди! — передразнила дама язвительно.— Вот наградил бог толком и умом! Donnez lui quelque chose! 3

— Mais… 4

— Quoi "mais"? Donnez lui quelque chose, je vous dis! 5

— Je n’ose… 6 здесь не берут!

— Скажите пожалуйста! Это ты, верно, у своих Карасевых набрался таких идей?

Невозможно выразить на бумаге той глубины презрения, какую молодая дама влагает в "Карасевых".

Очень молодой человек вспыхивает, как зарево.

— Я пойду…— говорит он,— я пойду еще попробую… может, уж очередь…

Но молодая дама безжалостна.

— Конечно,— говорит она,— никто не мешает следовать по стопам Ка-а-а-рра-ссее-вых!. Ха-ха-ха! К-а-р-а-с-е-в-вы!

У злополучного последователя Карасевых даже уши пунцовеют. Со слезами на глазах он бормочет:

— Я не понимаю… я не понимаю, к чему тут примешивать людей… людей… которые… которые…

— Конечно, никто не мешает! — продолжает молодая дама, не удостаивая заметить кроткого и смущенного представления.— Но, мне кажется, следовало бы немного помнить, чем кому обязан. Если живешь в чьем доме, так, мне кажется, можно, не говорю из благодарности, а хоть из приличия, время от времени пожертвовать карасевскими идеями! Наконец, можно хоть не вмешиваться! Кто просил отсылать человека? Он бы все мне сделал! Но, по милости карасевских идей, я теперь опоздаю на поезд! Опоздаю к 17-му! Надо будет возвращаться опять к тетеньке, и за чаем она опять будет подсмеиваться, как провинциалы опаздывают! По милости карасевских идей…

— Помилуй, кузина…

— Карасевы приказали трудиться! Ах, прелестно! Как почетно таскать самому чемоданы! C’est très gentil! 7 Ах, да! они все занимаются переноской чемоданов!

— Я не понимаю… к чему… к чему тут… тут чемоданы? — бормотал кузен.

Он задыхается.

— И дамы тоже? — презрительно щурясь, произносит кузина.— C’est charmant! 8 Нет ли их карточки с чемоданом на плечах? Они не дарят таких видов своим поклонникам?

Она, не замечая того, все более и более возвышает голос.

— Кузина!.

— Medames Карасевы…

— Они хорошие люди! — чуть не с рыданием шепчет кузен. — Они хорошие люди…

Его всего трясет, но кузина заливается язвительным хохотом.

— Ка-ра-се-вы…— начинает она, с каждым слогом делая все более и более презрительное ударение.

— Лучше пошлых гвардейцев! — почти вскрикивает потерявший над собою власть кузен, кидается в толпу, отчаянно пробивает ее и исчезает в багажной.

На несколько мгновений кузина немеет от изумления и остается неподвижна, как бы окаменев от неожиданного удара. Затем она начинает приходить в себя, и, по мере того, как она в себя приходит, ее лицо начинает искажаться

злостью. "Как он смел! Как он смел мне так говорить! А! хорошо! Увидим!" — так и читается в каждой черте.

Вдруг к ней приближается молодой человек, плохо одетый, дурно причесанный, без перчаток. Руки у него загорелые, походка твердая и осанка решительная.

Он останавливается перед гонительницею Карасевых и пристально на нее глядит. Она окидывает его с головы до ног беглым взором и небрежно отвертывается: он, видимо, произвел на нее впечатление невыгодное и причислен ею к классу "Ничто".

Но приблизившийся Ничто отнюдь не смущается и, наклоняясь к ней, спокойно говорит:

— Вы, прекрасная дама, сейчас высказывали свое мнение о Карасевых. Я желаю высказать свое мнение о вас.

На лице прекрасной дамы изумление быстро сменяется страшным испугом.

"Карасев!" — думает она, оглядывается во все стороны умоляющими о выручке глазами и несвязно бормочет:

— Я не высказывала… я только так… Это кузен… он всегда меня… всегда вводит в… в заблуждение… Я не знаю Карасевых…— Теперь уже в Карасевых не влагается презрение, а, напротив, некоторая почтительность,— я даже их не видала!

— Я тоже их не знаю и не видал,— отвечает молодой человек с решительной осанкой,— но это нисколько не помешает мне выразить моего мнения о вас, прекрасная дама.

Прекрасная дама трепещет, как лист, и ждет чего-то ужасного.

— По-моему мнению, вы дура, прекрасная дама! — говорит молодой человек.

Она, правда, ожидала чего-то ужасного, но все же не этого. Она глядит на него дикими глазами.

— Вы дура, прекрасная дама, — повторяет молодой человек тоном глубокого убеждения и отходит.

Она тем же диким взором провожает его.

Вылетевший из багажной кузен, очевидно, успевший уловить последнюю фразу, замирает на месте.

Стоящие и сидящие поблизости переглядываются, перешептываются, хихикают.

Вдруг прекрасная дама оглядывается кругом, приходит в себя, соображает и, если можно так выразиться, в бешеном изнеможении снова опускается на скамейку.

Картина.

Но ее поглощает нахлынувшая струя немецкого элемента.

Немки, даже петербургские, отличаются суетливостью (исключая баронесс и графинь, которые представляют поистине изумительную деревянность), но суетливость у них особенная, так сказать, аккуратная.

Вот бежит по платформе соотечественница, обремененная всего шестью-семью узелками, и она уж теряется, роняет то то, то другое, устремляет на вас дикие взоры, как будто соображая, не потерянная ли вы ее дорожная принадлежность, тоскливо охает, зовет носильщиков — вообще, видимо, не сумеет без счастливой случайности выйти из беспомощного положения и, прежде чем доберется до своего места, испортит себе бог весть какое количество крови и уходится до полусмерти.

Вот бежит немка, навьюченная не семью, а двадцатью семью мешочками, узелками, сверточками и пакетиками. Бежит она как ни в чем не бывало; все эти мешочки, узелки, сверточки и пакетики так солидно держатся, словно растут на ней; разнообразный вьюк не стесняет ее, а только заставляет преуспевать в юркости и зоркости.

Lieber Albrecht или lieber Wilhelm 9, с своей стороны, тоже отличается по этой части и посматривает на какого-нибудь торопливого расстроенного "русса", как наставник на безнадежного ученика.

Багажная мало-помалу прочищается: смятение переходит в вагоны, где всякий старается уместиться в ущерб соседу.

Платформа почти опустела, и потому теперь может, кто хочет, свободно любоваться оставшимися на ней живописными личностями.

На первом плане молодой человек в светло-коричневом бархатном костюме, с наглыми голубыми глазами навыкате, с сигарой в почерневших зубах, очевидно, явившийся сюда зрителем; около молодого человека кучка приятелей в светлых панталонах и ярких галстуках, с вычурными тросточками в

руках. Весь этот кружок вертится, хохочет и невероятно глупо себя держит.

Какая-то молодая женщина, покрытая темным платком, плачет, прислонившись к стене.

Небольшой отрядец дам, и во главе их две очень молоденькие, перебегает от одной дверки за барьер к другой, но повсюду оттиснуты раздраженными блюстителями порядка, которые яростно вскрикивают, заграждая проход грудью:

— Не извольте лезть! Не дозволяется!

— Да нам на секундочку! — убедительным тоном вскрикивает отрядец.

— Не дозволяется! Не извольте лезть! — вторят друг другу блюстители порядка.

— На секундочку!

— Не извольте ле…

Внезапное появление какой-то особы, развалистой и самоуверенной, вдруг заставляет отпрянуть блюстителей порядка и настежь распахнуть дверку, только что защищаемую грудью.

— Ведь вот пропускаете же,— укорительно раздается женский хор.

И отрядец снова пытается прорваться.

Но блюстители порядка, пропустив особу, снова уже сомкнулись и стоят непреклоннее, чем когда-либо.

— Ведь пропустили же сейчас,— раздается хор, поднимаясь на целую ноту выше.— Одних пропускаете, других нет! Это ни на что не похоже! Не все ли равно...

Пропущенная особа приостанавливается, оглядывается, окидывает бунтующий отрядец равнодушно-изумленным взором, как бы говоря: "Скажите, пожалуйста! Есть еще на свете простодушные люди, которые могут себе воображать, что "все равно"!"

— Пустили его, пускайте и нас! — покрывает хор чей-то звонкий свежий голос.

Особе так это кажется забавно, что она даже слегка улыбается и, поправив серую шляпу, закурив сигару, облокачивается на балюстраду, с улыбкою поглядывая на мятущихся притязательниц на равенство.

Приближается господин, сдержанный, учтивый и "покорнейше" просит дам не тесниться, ибо правилами железной дороги выход за барьер воспрещается.

— Но ведь отчего ж пропустили вот того господина в серой шляпе? — возражает ему взволнованный голос.

Сдержанный господин даже не бросает взгляда по указанному направлению, но с прежним невозмутимым спокойствием отвечает:

— Вероятно, были особые уважительные причины. Права публики...

— Да у нас тоже уважительные прич…

— Не угодно ли пропустить пассажиров? Прошу вас… Будьте столь обязательны, сударыни, посторонитесь… позвольте…

— Нет, это ужасно! Это просто ужасно! — раздаются хоровые восклицания.

Однако бунтующий отрядец отступает.

Блюстители порядка отирают капли пота с лица и вздыхают полной грудью.

Особа в серой шляпе удаляется в вагоны.

— Одних пускают, других нет! — раздаются, но уже на конце платформы, хоровые восклицания.— Это ужасно! Нет, это просто ужасно!

Двое каких-то испитых рабочих стоят и пересмеиваются.

— Сегодняшний день, видно, барыни на свет народились,— замечает один,— не благоизвестны еще, что одних пускают, а других нет!

— Должно полагать, что сегодня народились! — отвечает другой.— Одна невинность!

Ливрейный лакей носит белую шелковистую болонку с голубым ошейником взад и вперед по платформе, приговаривая:

— Сейчас, сейчас поедешь!

Трое военных молодецки рассыпаются перед бойкой и, судя по ухваткам, тоже военной дамой.

— Вы нас забудете! — говорит ей томно и вместе ухарски один офицер, причем пощелкивает шпорами и весь извивается, как змей.

— Разрешаю и вам меня забыть,— отвечает бойкая дама, обнимая одним молниеносным взглядом всю свою компанию.

— О, забыть! — восклицает другой офицер.

И, покручивая усики, цитирует, пренебрегая мерою, слова лермонтовского демона: Забыть! Забвенья ему не дал бог,

Да он бы и не взял забвенья.

Усталые чернорабочие гуськом проходят к вагонам.

Раздается звонок.

— Прощайте! прощайте! — гудет со всех сторон.— Ну, прощай! Смотри же, не забудь! Помни! Пиши из Москвы!

— Adieu! adieu! 10 — раздается на французский и немецкий лад.

Паровик свистит, поезд трогается.

— Пиши! — кричит чей-то молодой взволнованный голос, и взволнованное лицо высовывается из окна вагона.

— Варва́р! Варвар! — кричит другой, несомненно немецкий голос.— Не забыть получить за ламп! За ламп от Анн Петровн! За голубуй ламп!

— Что? — долетает голос, уже замешавшийся в расходящуюся толпу,— голос Варвар.— Что получить?

— За ламп! За ламп! За голубуй ламп! С серебряным висюлечкам… Карл Иванач знает… Голубуй ламп с висюлечкам…

При этом из окна вагона высовываются немецкие жирные пальцы и быстро движутся, очевидно, стараясь наглядно изобразить "висюлечк".

— Прощай! Пиши! — слышится опять русский голос.— Так через месяц?

— С висюлечкам! Голубуй ламп! Варвар! не забыть, ни за что в свет не забыть! Варвар! Варвар! Где ж ты, Варвар! Ah lieber Gott! 11 Какие это луди! Варвар! Варвар!

— Так через месяц?

— Напиши же!

— Да, да!

— Варвар! Варвар! Du, lieber Gott! 12 Варвар!.

Поезд двигается быстрее. Пассажиры уселись.

Струя свежего, хотя нельзя сказать чтобы животворного воздуха пашет в лицо. По обеим сторонам дороги мелькают бледно-зеленые нероскошные поля.

— Вы в Москву? — обращается с приветливой улыбкой пожилой, белый, раскормленный дворянин к своей соседке.

Во взгляде, в голосе, в каждой складке сытого лица видна особая какая-то ласковость — так называемая московская барская ласковость, за которою провидятся и разные московские барские добродетели: например, ни с того ни с сего закормить и запоить до полусмерти всякого, ничуть не голодного встречного, который (тоже ни с того ни с сего) приглянулся, добродушно оплакивать судьбу "братьев чехов" или "братьев сербов" и сдирать на пожертвования "для славянского единства" с "этого славного, доброго, честного русского народа", с первого слова пускаться в "задушевные речи" и проч. тому подобное.

— Нет,— кратко отвечает соседка.

— В губернию?

— В губернию.

— Но в Москве, конечно, остановитесь, поживете?

— Нет.

— Как же это? Неужто не почествуете нашу старушку белокаменную? Вы давно у нас не бывали? Много, много перемен.

Он вздыхает как-то особенно,— тоже по-московски,— с легким шипением сквозь зубы, и прибавляет с чувством:

— А и теперь еще хорошо!

Он снова вздыхает, прищуривается, задумчиво глядит в пространство, потом, как бы вдруг опомнясь, так же ласково продолжает начатую беседу.

— Вы живали в Москве?

— Нет.

— Неужто? И совсем ее не знаете?

— Случалось бывать только проездом.

— Проездом! Да как же это вы не остановились-то, а? — спрашивает он с грустно-снисходительным упреком.— И не грех? Ведь сердце земли русской! Позвольте спросить, вы разве из коренных петербургских?

— Нет.

— Я это сейчас же угадал! У вас настоящий русский тип… Наш тип, славянский… тип древних русских цариц… Скажите, вы где родились?

— В Малороссии.

— Ну, да! Так и есть! Родное, свое! Малороссия — ведь это меньшая сестра России… Скажите, как же можете вы существовать в Петербурге после ваших роскошных цветущих

степей? Как вы, дитя пышной Украйны, не увяли в этом гнилом петербургском болоте?

"Дитя пышной Украйны" несколько сухо отвечает, что чувствует себя в Петербурге очень хорошо.

— Не верю! Не верю! — восклицает он, улыбаясь и помавая белой пухлой рукою.— Не верю! Существо, взросшее под животворными лучами нашей русской Италии… Украйна — это наша Италия. Не верю! Нет, не верю, не верю! Я, мужчина, не могу выносить петербургских миазмов! Я, мужчина, там дышать не могу! Я приехал туда по необходимости, но не вынес: прожил две недели и дальше не мог! Я бросил дела, я бежал из этого вертепа холодного разврата! Ни привета, ни теплого взгляда, ни задушевного слова — везде расчет, везде грязь…

"Дитя пышной Украйны" взглядывает на него и как будто хочет сказать: "За что же это осыпать вас "теплыми взглядами", "приветами" и "задушевными речами"?"

Но ничего не говорит и обращает глаза в окно.

— Грязь, грязь и грязь! — продолжает он с благородным отвращением.— Я не могу…

— Москва тоже особой чистотой не отличается,— перебивает его звучный женский голос из противоположного угла вагона.

Звучный голос принадлежит черноглазой, бойкой на вид девушке.

— Вы изволите обращаться ко мне? — спрашивает он, повертываясь и стараясь каждым мускулом лица выразить верх язвительного изумления.

Но черноглазая девушка не обращает на это никакого внимания и, вместо ответа на язвительный вопрос, обзывает Москву "помойной ямой".

— Я нахожу излишним вам возражать,— говорит он после нескольких секунд немой ярости, говорит с наисильнейшим ударением над словом "вам", но очень сдержанным тоном,— я позволю себе только заметить, что, говоря о грязи, я подразумевал грязь нравственную… нравственную-с…

— И нравственной матушке Москве не занимать-стать, и всякой другой-прочей: полным-полнехонько! — отвечает черноглазая девица.

Он глядит на нее с минуту, как вы бы поглядели на безвозвратно обесчестившего и погубившего себя человека, как-то особенно драматично содрогается и, словно все еще не желая верить своим ушам, с усилием произносит:

— Как-с вы сказали?

— Я сказала, что в грязи уличной и "нравственной" матушка Москва белокаменная никому первенства не уступит.

— Позвольте мне заметить, что вы, вероятно, знаете Москву по петербургским слухам?

— Нет, не по слухам. Я сама там чуть не задохлась.

— Чуть не задохлись? Позвольте спросить, какие же условия необходимы для того, чтобы вы могли свободно дышать?

— Такие, какие необходимы для всякой разумной твари!

— То есть коммуны-с?

— Вы пошляк, и с вами не стоит говорить.

Тут он действительно изумляется и содрогается непритворно. Все масло вдруг словно испаряется из его глаз, мясистые щеки бледнеют, и он уж не говорит, а шипит:

— Сударыня! Я москвич! Я москвич и не позволю себе забыться…

Наступает молчание. Все присутствующие встрепенулись и навостряют уши. Черноглазая девица смело и беззаботно перелистывает какую-то книгу.

Москвич старается как можно презрительнее улыбаться.

Непозволительно напомаженный розовой помадой купчик, с русой клинообразной бородкой и алыми щеками, который до того времени все слушал, улыбался и обдергивал свою синюю новую чуйку, кашляет в руку и обращается к черноглазой девице не без некоторой колкости, но любезно:

— Вы уже очень конфузите Москву-с. Нам, москвичам, это огорчительно-с!

— Что ж делать? Я говорю правду.

— Это конечно-с, конечно-с… Только вы-с, по красоте своей и по молодости своей, неправильно видите-с… Москва тоже свое образование имеет-с, будьте спокойны-с! И у нас подвиги-то тоже случаются не хуже питерских! И улицы тоже хорошие имеются-с… Вот-с Тверской бульвар хоть бы взять или хоть Мясницкую… Уж Москва не так простоволоса, как вы заключаете-с. Подвиги-то не то что-с… не хуже питерских, а бывают и почище-с!

Черноглазая девица смеется и спрашивает:

— Какие же это такие подвиги? Расскажите!

— Разные-с! — отвечает купчик, то поглаживая, то покручивая свою клинообразную бородку.— Разные-с! Вот, к примеру сказать, первобытно заключали, что Петербург всегда может обойти Москву, а теперь уже нет — шалишь! Мы сами-с с усами-с!

"Москвич" наклоняется к своей соседке, "дитяти пышной Украйны", причем глаза его снова умасливаются, и говорит ей:

— Люблю русского московского человека! Как он умеет резать матушку правду! Какой у него глубокий смысл!

"Дитя роскошной Украйны" ему не отвечает, восхищения "глубоким смыслом русского московского человека" не выказывает, закутывается в шаль и отодвигается как можно подальше.

— В первобытное время-с,— продолжает купчик все с тою же улыбкою,— заключали так, чтобы Москве учиться у Петербурга большим спекуляциям, а теперь уж, пожалуй, что и Москве-с можно Петербургу уроки и наставления давать-с…

Москву теперь не проведешь — шабаш! Вот еще недавно было дело важнейшее-с! Угодно, я вам расскажу весь анекдотец?

— Расскажите, очень обяжете,— отвечает черноглазая девица.

— Извольте слушать-с. Есть у нас в Москве богатейший купец, первый торговец по бакалейной части-с. Жил он всегда благополучно, и все его душевно почитали-с. Дела, разумеется, он вел большие-с, и кредит ему был полнейший. Вот он задает обед всем своим побратимам-с. Все с удовольствием едут-с. Обед пышнейший: вина там этакие заморские, торты и блимаже 13 разные — словом сказать, все, как надлежит богачу-с.

Москвич опять наклоняется к "дитяти пышной Украйны" и шепчет ей:

— Слышите, как говорит? Ведь это своего рода Гомер!

"Дитя пышной Украйны" опять ничего не отвечает, но отодвинуться ей уже некуда.

— Ну-с, обедают все в полном удовольствии-с и пьют за здоровье-с. И вдруг хозяин встает-с и говорит гостям-с:

"Слушайте, гости мои: я каяться буду! Судите меня!"

Все этак усмехаются-с, ожидают, что ему угодно потешить их, побалагурствовать. Кто побойчее, тоже шутки подводят.

"Кайтесь,— говорят ему,— кайтесь, батюшка! Мы суд над вами сию минуту нарядим!"

А он вдруг это в слезы-с! И закрывается этак рукавом-с, и рыдает-с… Все так и помертвели-с, слов не находят, только на него в беспамятстве глядят-с… А он только слезами, знай, заливается да время от времени себя этак рукой в грудь-с…

Наконец, приходят в чувство-с…

"Что такое? Что такое?"

"Я,— говорит с рыданьями-с,— я банкрот! Сажайте меня в темную темницу! Простите меня,— взмаливается-с,— простите окаянного грешника: я всех вас подвел!"

И становится это на колени-с… И руки к ним простирает-с… И весь дрожит-с…

А кредит у него, как я вам уже докладывал-с, полнейший был, и всем он им задолжал, кому десять, кому пять, кому пятьдесят, может, тысяч…

Ну, все, постигаете-с, и поражены, и разнежены, потому были подвыпивши к этому факту-с. Все его поднимать с колен берутся, обнадеживают…

А он показывает на стены и на шкафы — дом у него, доложу вам, как есть чертог-с! — и рыдает этак жалостно-с:

"Все это уж не мое! Все уж продал! Думал, вывернусь!"

Ну, и так он это плакал и скорбел-с, что всех их прошиб. Кто если и поворчал, так только так, для торгового порядка-с…

"Москвич" снова обращается к "дитяти пышной Украйны" и шепчет ей с волнением:

— Да! Вот наши купцы, которых так обвиняют в неразвитости, выставляют в смешном виде нынешние остроумники! Нет! сердце у них, как у народа русского, православного, золотое! Эта патриархальность, которая так смешит бессодержательных модников и модниц, скрывает под собой глубокую струю братской — святой братской любви!

Купчик оглядывается на него, прислушивается, видимо, не вполне разбирает смысл его монолога, улыбается как-то двойственно — и москвичу одним концом губ, и своей собеседнице другим — и продолжает:

— Одначе своего добра всякому жаль-с. И все по этому случаю огорчены-с и думают: неужли никакого способу спасенья нет?

Он это понимает-с и говорит им:

"Други мои,— говорит,— и благодетели! Вы меня, обманщика и разбойника, милостями обсыпали. Какая я ни на есть тварь, а забыть я этого не могу: я возьму посошок нищенский и пойду в Киев, к святым местам. Я отрекаюсь от мира. Людским подаянием буду питаться. Омочу слезами моими черствую корочку и поживлю тем свою грешную душу!"

Долго он это еще вавилоны водил-с и, наконец, объяснил им, что есть еще у него малая толика в спрятном местечке и что желает он ее им разделить полюбовно, по-братски.

"Не знаю,— говорит,— сколько придется на брата,— мало, очень мало!

И начинает высчитывать им, кому он должен. И просто страсть выходит-с! И тому, и другому-с, и пятому, и десятому, и сотому-с. Просто, значит, придется на брата по копейке по медной-с. Выходит, не уплата-с, не процент-с, а один только смех-с…

Ну, они, разумеется, недовольны-с. Начинают ему пенять-с, что нас, дескать, равняешь со всеми прочими, а мы, дескать, и любили тебя больше, и одолжили больше.

Ну, а он берет себя этак за голову-с и начинает безумствовать-с. И безумствует-с.

"Я,— кричит,— погиб! Я грабитель! У меня голова стеклянная, я ее разобью!" И ну биться головой-с. И все это так досконально, словно на лучшем театре-с.

Они его за руки-с, они его водой поить и брызгать. Тогда он еще пуще рыдать принимается-с, и опять на колени пред ними падает-с, и кричит-с:

"Я ваш раб! Приказывайте! Что прикажете, то и исполню!"

Они и приказывают ему, что, дескать, плати ты нам одним, раздели крохи между нами.

"А те-то? — он их спрашивает.— А прочие-то несчастливцы? Ведь я их погубил! Ведь за них меня бог накажет!"

Ну, споры по этому обстоятельству были-с и разные морали-с. И долго он все не соглашался-с, даже до поту лица их довел-с… И тогда уж, как увидел их в этом положении, склонился, и вместе все разочли и распределили-с, и получили

они все по десяти копеек за рубль-с... Покончили, значит, полюбовно-с и разошлись по домам.

И все в той надежде, что вот он это с посошком в Киев пойдет-с, а прочие кредиторы волосы будут на себе рвать-с.

А он через недельку после этого коленца новый магазинчик открыл-с и новый домик купил-с!

Так Москва-то, извольте заключить, тоже-с подвиги может совершать-с! Вы нашу старушку понапрасну, значит, конфузите-с!

— Это выдумки! — резко вскрикивает "москвич", переходя неожиданно от умиления к раздражению.— Я не понимаю, к чему вы вздумали рассказывать здесь подобные бессмысленные анекдоты?

— Прошу прощенья-с, анекдот самый верный-с,— отвечает несколько оторопевший, но неподатливый купчик.— И коли вы заподлинно из Москвы-с житель, так вы сами можете заключить-с...

— Вот "струя братской любви" так струя! — замечает черноглазая девица и заливается таким веселым хохотом, что даже господин в золотых очках, все время читавший газету и по бесстрастности и неподвижности скорее походивший на произведение искусства, чем на живую тварь господню, и тот переводит глаза с газеты на нее и улыбается.

Из "москвича" вся маслянистость снова испаряется, он слегка багровеет и говорит неровным голосом:

— Во всяком случае… во всяком случае, язвы родины врачуются слезами, а не смехом! Положим даже, что анекдот господина шутника, нашего спутника, справедлив, положим…

— Извольте положить-с, не сомневайтесь,— перебивает купчик.— Вся Москва знает-с, все радуются-с!

— Радуются? — вскрикивает черноглазая девица.— Радуются?

Затем снова заливается хохотом, который окончательно отрывает от газеты господина в золотых очках.

— Язвы родины…— начинает "москвич".

— Чему ж они радуются-то? — перебивает черноглазая девица.

— А как же-с не радоваться! — отвечает ей купчик.— Ведь свое-с, родное-с! И не то чтобы там от каких англичан или немцов научился, а сам, своим умом дошел-с.

— Да ведь он…

— Так что же такое-с? Хотя там от него и претерпели-с убыток, а все нельзя не почувствовать, что он молодец-с, политик-с… Голова, что называется, не сеном набита-с! Ну, и лестно-с, что и нас, дескать, бог не совсем своим промыслом обошел-с!

— Не обошел! Не обошел! — хохочет черноглазая девица.

— Язвы родины…— снова начинает "москвич".

Но черноглазая девица его снова перебивает:

— Расскажите еще про московские подвиги!

— Занятно показалось? — спрашивает купчик с самодовольной усмешечкой.

— Очень занятно! И вы отлично рассказываете: так все и видишь перед собою.

— Помилуйте-с! Это один комплимент-с!

— Ей-богу, не комплимент!

— Как можно-с! Мы понимаем-с, что это один комплимент-с…

— Ну, хорошо, как хотите… Скажите, правда это, что в Москве разводят гуано?

— Что-с?

— Гуано.

— Такого не слыхал-с, не знаю-с. Давно-с?

— Недавно.

— От кого изволили слышать-с?

— От одного знакомого.

— Кто такой на прозванье-с?

— На что вам его прозванье? Дело не в прозванье, а в том, что у вас в Москве разводят гуано!

Купчик делается серьезен и, видимо, начинает подозревать, что девица намерена над ним поглумиться.

— Неужели не знаете? У вас в воспитательном доме, на чердаке…

— А! Это голубей-то-с приваживали?

— Да, да! Ведь тоже молодец!

— Хозяин-с!

— Так это правда?

— Правда истинная-с. Обидели его, обидели-с! "Москвич" яростно обращается к купчику и, шипя, спрашивает:

— Вы от кого эти сведения получаете?

— Слухом земля полнится-с,— отвечает купчик.

— Хорошо-с.

Это "хорошо-с" произнесено столь зловещим тоном, что купчик несколько смущается, но показывать смущения не желает и потому улыбается по-прежнему, пощипывая и поглаживая свою бородку.

— Ну, расскажите! — говорит ему черноглазая девица.

— Что ж рассказывать,— отвечает купчик,— сами знаете-с!

— Да я только кое-что слышала, я хотела бы поподробнее узнать! Пожалуйста, расскажите!

Купчик только улыбается.

— Да что вы, боитесь, что ли, кого?

— Чего ж бояться мне-с? Я, слава богу, человек не подневольный-с. Слава богу, господ над собой не имею-с!

— Так как же это он приваживал голубей, а?

— Так и приваживал-с. Там у них пространнейший чердак-с, и вот там все и происходило-с. И дошло, наконец, до того, что уж не только чердаки-с, а и верхний этаж предопределен был голубям-с, вместе с младенцами-с... Ха-ха-ха! Подлинно, как есть, хозяин-с.

— Безумная, злобная клевета! — восклицает "москвич", не обращаясь ни к кому, а так, в пространство.

— Не клевета, а глубокая "струя братской любви"! — отвечает черноглазая девица с горьким уже смехом.— Известно, по крайней мере, сколько детей поморено за это время? — обращается она к купчику.

— Мор был большой-с, а в точности неизвестно-с,— отвечает купчик, поглаживая бородку.

"Москвич", с которым чуть не сделался удар, когда черноглазая девица упомянула о "глубокой струе", несколько оправился и обращается, шипя, как кипящий сироп, к купчику:

— Любезнейший! Ты сам из Москвы?

— Московские-с,— отвечает самодовольно купчик.

— А звать тебя?

— Андрей Иванов.

Андрей Иванов вглядывается в круглое, багровое от злости дворянское лицо, смекает, что вел себя неосторожно, смущается этим, но, сохраняя вид спокойствия и даже некоторого удальства, отвечает с прежнею улыбкою:

— На что ж это вам мое прозванье понадобилось-с? Аль вы ревизские сказки списываете-с?

Для негодования "москвича" нет выражений. Он задыхается, дрожит, слюна у него брызжет,— едва возможно разобрать, как он, захлебываясь, шепчет:

— Я ревизских сказок не списываю… но… я знаком ли-ч-н-о с градоначальником и… и одолжу его… если… если… уведомлю о твоих… гнусных… гнусных…

— Извольте уведомить-с, извольте… Что ж! Извольте! — отвечает заметно изменившийся в лице, но все еще старающийся бодриться Андрей Иванов.— Что ж такое? Извольте-с… извольте-с…

— Ваше прозвище!

— Не говорите! — вскрикивает черноглазая девица.— Никто не смеет вас допрашивать!

— Всякий честный человек имеет право требовать отчета в гнусной клевете! Да, имеет право! — шипит "москвич".— Каждый, горячо любящий родину свою…

— Должен, по-моему, кротко смотреть на некоторые ее… ее уклонения,— раздается позади "москвича" внушительный голос.

"Москвич" быстро повертывается и окидывает нового собеседника грозно-испытующим взором.

Новый собеседник высовывает из-за спинки вагонного дивана кудрявую, несколько косматую темно-русую голову и, вопреки молодости и искрометным темным глазам, вид имеет не только постный, но даже вместе с тем величавый. Подозрительный осмотр он выдерживает как ни в чем не бывало и затем еще более подозрительно сам начинает в упор разглядывать обернувшуюся к нему раскормленную физиономию.

— То есть, как же это? — говорит несколько сдержаннее, но все еще захлебываясь, "москвич".— Если гнусная клевета, пуская свое ядовитое жало в самые священ…

— Жало клеветы сломается о твердь правды, сказано в пророках, но это в сторону. У вас недостает смирения…

— Уж это точно-с, недостает-с! — замечает в сторону снова оживающий Андрей Иванов.— А между тем-с при таких страстях в полнокровии угрожает кондрашка-с.

— Смирения перед явлениями русской жизни недостает! — продолжает новый собеседник, не спуская глаз с "москвича".— Что вас оскорбило в анекдоте Андрея Иванова,— слегка кланяется при этих словах Андрею Иванову, который вскакивает и отдает ему наилюбезнейший ответный поклон,— о море и голубях?

— Клевета...— захлебывается "москвич",— клевета...

— Никакой клеветы-с! — вставляет Андрей Иванов.— Одно ваше воображение-с!

Черноглазая девица глядит на нового собеседника нельзя сказать чтобы ласково или почтительно.

— Клевета! Оскорбление благородной личности! — выговаривает "москвич".— Это теперь в моде! Я лично не знаю этого оклеветанного, но я бескорыстно, как честный человек, считаю своей обязанностью везде провозглашать, что вся эта история... вся искажена самым непозволительным образом! Из мухи сделали слона с постыдной целью...

— Позвольте просить вас познакомить нас с мухой.

— Увольте меня от этого! Чем скорее предадим мы забвению эту грязную выдумку, тем лучше!

Затем, обращаясь к "дитяти пышной Украйны", вполголоса грустно говорит:

— Тяжело! Я живой еще человек и не могу…

Но "дитя пышной Украйны", не внимая ему, обращается к сидящему в другом углу господину и просит его сделать ей одолжение, перемениться с ней местом.

Угловой господин соглашается, но, видимо, без всякой охоты. Он осторожно, словно по тонкому льду, пробирается в соседство "москвича", подбирая полы серенького пальто, опустив впалые глаза и сжав бутончиком губы; на его сером чиновничьем лице как нельзя яснее выражается: "Не надо ни с кем из них связываться! Не надо… Еще беду наживешь!"

"Москвич", цепенея, провожает глазами "дитя пышной Украйны". Ему сильно угрожает "кондрашка" в эту минуту.

— Не угодно ли, я вас познакомлю с "мухой"? — спрашивает господин в золотых очках, обращаясь к кудрявой голове.

— Сделайте одолжение! — отвечает голова.

— Пожалуйста!— вскрикивает черноглазая девица.

"Москвич" обращает исступленные взоры на золотые очки, но золотые очки, поправляемые белой рукой, очевидно, более привыкшей подписывать резолюции, чем представлять к подписи, без слов очень красноречиво отвечают: "Мой друг, со мной вам не тягаться! Я не выезжаю на любви к Москве, потому что выезжать на этом не стоит, ибо не приводит ни к чему положительному, но я имею другой полет — известный у вас в Москве под названием гуманно-административного. У нас считается полезным выводить промахи и уклонения известной категории… и я вывожу их спокойно, с полным сознанием своего долга".

Невзирая на бешенство, обуревающее "москвича", сей немой язык, очевидно, отлично им понят, потому что он мгновенно съеживается, как губка, из которой вдруг вытянули влагу, и обращает глаза в окно вагона, стараясь прикрыть видом внезапно налетевшего раздумья бушующие в груди чувства.

Золотые очки, обращая свои лучи на черноглазую девицу, с легкой улыбкой начинают:

— Я это дело знаю очень близко, потому что оно передано мне очевидцем, достойным полного доверия, занимающим довольно важный пост. Гм-гм!

Золотые очки невыразимо откашливаются, этим откашливанием упомянутый как бы вскользь "пост" вдруг выделяется, как комета на ночном небе, что заставляет "москвича" несколько раз быстро сморгнуть, хотя он головы и не повертывает.

— Что ж, как это было? — перебивает черноглазая девица с несколько резким нетерпением.

Золотые очки несколько саркастически, но чрезвычайно благосклонно улыбаются на это нетерпение и слегка наклоняют голову, как бы желая выразить: "Такая живость, разумеется, в порядочном обществе не принята, но я ее допускаю в такой очаровательной дикарке".

Затем продолжает:

— Начальник заведения точно был человек почтенный, если глядеть на него с точки его отношений к семье и приятелям и принимать во внимание степень его развития. Он даже, можно

сказать, не скрывал своего… своего,— саркастический, но еще благосклоннейший взгляд на черноглазую девицу,— своего образа действий. Не могу вам наверно поручиться, что впервые навело его на мысль обратить вверенное ему заведение в голубятню, но предполагают, что виною этому была статья, помещенная в одном из наших журналов.

— Это в каком же? Это как же? — вскрикивает черноглазая девица, изображая всем своим существом самый ярый протест.

Золотые очки видимо любуются ею, как какой-нибудь картинкой, которую, хотя ни за что не показывают ни жене, ни дочери, но тем не менее сами, в силу привилегий мужского пола, смотрят с удовольствием.

Косматая голова по-прежнему остается на спинке вагонного дивана неподвижно-внимательно. "Москвич" встрепетывается и за неимением около себя "дитяти пышной Украйны", бросив на помянутое дитя яростный взор, обращается к серому чиновнику:

— Да! Статьи нынешнего направления…

Серый чиновник покрывается краской испуга и начинает притворяться, что его душит припадок кашля.

Золотые очки продолжают:

— Я статью не осуждаю,— статья могла быть прекрасная, но беда в том, что даже прекрасное, падая на необработанную почву, производит нечто безобразное.

— Ну! — восклицает черноглазая девица.

— Многие факты это, к сожалению, неопровержимо доказывают,— отвечают, слегка наклоняя голову, золотые очки.— Я продолжаю. Статья была, если не ошибаюсь, о гуано как о превосходнейшем средстве удобрения бесплодных полей. Глава же заведения, о котором идет у нас речь, не получал с подмосковного своего имения никаких доходов именно потому, что земля там бесплодная. И вот его озаряет мысль, нельзя ли устроить в Москве гуано. Если мы еще к этому предположим, что он читал эту статью у открытого окна и увидал густую стаю голубей, опускающуюся на крышу казенного заведения, то объяснится совершенно просто, как он пришел к решению, имевшему впоследствии столь для него неприятный исход.

Он с спокойною совестью занялся производством. К концу года все чердаки преисполнены уже были голубями, и весной он имел утешение отправить несколько подвод голубиного гуано на свои подмосковные нивы.

На следующий год производство, как и следовало ожидать, пошло еще успешнее. Голуби, привлекаемые обильным кормом, заняли не только чердаки, но и верхний этаж заведения. Естественно, это несколько стеснило помещение младенцев и произвело между ними большую смертность.

Золотые очки с улыбкой умолкают. Общее безмолвие по разным причинам. Черноглазая девица задыхается от негодования; серый чиновник до того придавлен ожиданием бед от подобных разговоров, как будто сам был сильно замешан по делу о гуано; косматая голова, щурясь, всех обозревает, словно все не люди, а какие-нибудь пирожки или иллюстрации, которые ей вовсе не по вкусу, но которыми, тем не менее, приходится довольствоваться в данную минуту. Купчик Андрей Иванов как-то особенно пожимается, одним

глазом взглядывает не без сарказма на "москвича", а другим, не без почтения, на золотые очки.

Золотые очки, помолчав, продолжают, обращаясь к черноглазой девице:

— Самое главное — это недостаток образования. Молодые силы России велики.

При этом золотые очки избочаются, как молодые юнкера, подносящие на гулянье розу красавице и дающие понять этой виновнице их восторгов и страданий, что она и самые розы превосходит прелестью. Нет сомнения, что они также жалают дать понять черноглазой девице, что она — пленительная представительница великих сил молодой России.

— Силы эти...

Пронзительный свисток прерывает многообещавшую тираду.

Начинается суета, возня, давка. Со всех сторон жужжит: "Буфет! Буфет!", раздается хлопанье дверей, проносятся струи кухонного запаха, женский наставнический голос пищит с нижегородским акцентом: "Ne courez pas, George" 14.

— Чайку изопью! — вдруг все покрывает какой-то бас.

Золотые очки раскланиваются преимущественно с черноглазой девицей и удаляются с улыбкой.

Серый чиновник поспешно, спотыкаясь, выскакивает на платформу, видно, как перебегает от вагона к вагону,

отыскивая более безопасного для себя места, наконец, вероятно, найдя желаемое, исчезает.

Андрей Иванов, ласково улыбаясь, словно продавая что-то неподатливому покупщику, уходит тоже в буфет. Черноглазая девица сначала зевает, потом задумывается. Украинка, кажется, спит, потому что закрыла глаза; косматая голова остается в прежнем положении на спинке дивана; "москвич" имеет до того расстроенный вид, словно последнее его родовое имение, населенное "дорогими детскими воспоминаниями", как обыкновенно москвичи в этих случаях выражаются, описано и продается с аукциона.

Общее безмолвие.

Наконец, раздается звонок, и пассажиры беспорядочно валят к вагонам.

Андрей Иванов возвращается с кренделем и яблоком и той же улыбкой на цветущем лице.

— Не угодно ли-с? — говорит он черноглазой девице, представляя ей на трех перстах апельсин.

— Нет, не хочу,— отвечает черноглазая девица.

— Просим-с умиленно! Будьте столько милостивы, не откажите-с! — пристает Андрей Иванов, сбочив безбожно напомаженную голову.— Осчастливите-с человека.

— Говорят вам, не хочу! — отвечает с неудовольствием черноглазая девица.— И с какой стати вы вздумали потчевать меня апельсином? Вы бы лучше на эти деньги какой-нибудь голодной хлеба купили!

Андрей Иванов до того изумлен этими словами, что даже улыбочка его на мгновение стушевывается и апельсин чуть не слетает с трех перстов, на которых так грациозно представлялся девице.

— Что-с? — спрашивает он, несколько оправившись.

— Лучше бы вы хлеба какой-нибудь голодной купили, чем угощать встречных апельсинами! Что ж вы на меня глядите во все глаза? Разве я по-китайски вам говорю?

— Хлеба голодной-с? — спрашивает Андрей Иванов.— Какой же это голодной-с? У меня, слава богу, голодных не имеется-с!. Мы не какие-нибудь-с!. Вы это напрасно-с!.

При последних словах лицо его омрачается, тон из умильного переходит в обиженный, и он, видимо, начинает подозревать черноглазую девицу в желании унизить и оскорбить его.

— Я не знаю, как это уразумевать-с! — прибавляет он.

И, взяв отвергнутый апельсин в кулак, садится.

— Вам не понятно, что лучше дать голодному кусок хлеба, чем угостить сытого апельсином? — спрашивает запальчиво черноглазая девица.

Андрею Иванову это, очевидно, непонятно. Он подозрительно смотрит на черноглазую девицу, как бы стараясь отыскать какой-то скрытый, оскорбительный для его чести смысл в этих словах.

— Вы не понимаете, что апельсин нейдет в горло, когда у других хлеба нет? — вскрикивает черноглазая девица.

— Не понимаю-с. Отчего ему нейти-с?

"Москвич" оборачивается и, глядя на черноглазую девицу, язвительно улыбается, как бы желая выразить: "Вот они, модные-то идеи!"

Косматая голова тоже смотрит на черноглазую девицу, но смотрит не без удовольствия.

И в самом деле, черноглазая девица в эту минуту хороша,— хороша не как обладательница искрометных глаз и алого румянца только, а как человек, в котором, может быть, и угловато, и не в пору, но заиграли те человеческие чувства, которыми он отличается от скотов.

— Вы не понимаете, что позорно есть апельсины, когда вон та старуха, глядите, глядите,— вон идет она!

И черноглазая девица толкает его к окну.

Он выглядывает из окна и говорит:

— Вижу-с, вижу-с!

— Когда та старуха едва тащится!

— Как-с? Позорно-с?

— Да, позорно! Понимаете, стыдно, совестно!

— Нет-с, не стыдно и не совестно-с. Даже нисколько-с.

— Нисколько?!

— Нисколько-с. Потому я в этой старухе не виноват-с.

— Все мы виноваты!

— Может, вы-с, а я не виноват-с!

— Говорю вам, все, все виноваты! Понимаете вы — все!

Андрей Иванов улыбается и, поглаживая бородку, возражает:

— Не могу этому верить-с. Вдруг какая-нибудь бродяга-с, и вдруг все виноваты! Не могу верить-с!

— Да поймите же, наконец…

— Сударыня! — вдруг отзывается косматая голова.— Вы рассыпали бисер!

Черноглазая девица обертывается и с удивлением резко спрашивает:

— Какой бисер? Где бисер?

— Вы рассыпали бисер,— повторяет косматая голова, выразительно глядя ей в лицо.— Я сам видел, как покатились бисеринки вот к их ногам.

И косматая голова кивает на Андрея Иванова.

Андрей Иванов нагибается, некоторое время шарит по полу, затем поднимается, встряхивает волосами, с которых брызгает помада, подозрительно взглядывает на косматую голову и усаживается на месте.

Черноглазая девица улыбается и говорит:

— Ах, и в самом деле я просыпала!

Затем погружается в невеселые думы, что можно видеть по ее живому, выразительно говорящему лицу.

Раздается последний звонок. На опустелой платформе видны золотые очки под руку с каким-то гладко выбритым, словно выскобленным, розовым подбородком благородных размеров и пухлости.

Золотые очки перебегают по окнам вагонов, очевидно, отыскивая что-то интересное.

Подбородок говорит:

— Где ж она? Нет? Ну, пойдемте,— может быть, она где-нибудь там в третьем… бог с ней! Вы знаете, у нас Aline с мужем. Как похорошела! Персик! Пойдемте!

— Погодите! Погодите! Я вам говорю, прелесть! Вот она!

И золотые очки указывают на черноглазую девицу.

Подбородок остается доволен.

— Да! — говорит он.— Да! Вы разговорились с ней?

— Некогда было! Ведь это своего рода скала.

— А говорили, что все нигилистки уроды! — замечает подбородок, приподнимаясь на цыпочки для полнейшего обозрения обсуждаемого предмета.

— Нет правила без исключения! — отвечают золотые очки.

— И, кажется, довольно чистенькая, а?

— Ничего. Жаль, что я дал слово Катерине Ивановне. Я бы поехал с ней до Москвы!

— Энтузиаст! — смеется подбородок.

— Вами любуются-с! — уведомляет Андрей Иванов черноглазую девицу.

— Что? — спрашивает она, поднимая голову.

— В восторги от вас приходят-с. Извольте взглянуть-с!

Она взглядывает, потом с омерзением отворачивается.

— Барышни всегда притворщицы-с! — с хихиканьем говорит Андрей Иванов, намекая на выказанное ею презрение к приходящим в восторги.

— Перестаньте говорить глупости! — замечает черноглазая девица.

— Помилуйте-с, какие ж глупости-с…

Третий звонок. Поезд шипит, свистит и двигается.

Скоро исчезает из глаз пассажиров и платформа, и золотые очки под руку с подбородком, и переставные лавочки с прогорклыми, сухими, пыльными снедями, и сама станция с претензией на архитектуру.

Опять поля. Несколько ярче и гуще зелень, но все-таки очень плоха. Мелькают по сторонам более или менее чахлые кусты; то там, то сям поднимаются вдали крупные коршуны и описывают широкие медленные круги в воздухе. Еще дальше на тропинках, ведущих куда-то в деревни, время от времени чернеется, как муравей, какой-нибудь прохожий мужик или прохожая баба.

Жар усиливается, пыль все больше и больше набивается в вагоны. Небо неприятного голубовато-серого цвета, как оно изображается на вышитых гарусом подушках над головой турка в чалме или охотника в узорчатом патронташе.

— Ма-а-туш-шки! Вот жаротва-то приперла! — слышится из вагона.

Андрей Иванов, отирая пот с лоснящегося лба, заводит разговор.

— Тепло-с! — начинает он, обращаясь к черноглазой девице.

Черноглазая девица, невзирая на его умильную улыбку, не дает никакого ответа на его справедливое заявление о теплоте.

— Напрасно вы изволите на меня обижаться-с,— продолжает он.— Мне это прискорбно-с! Я...

— Оставьте меня в покое,— прерывает его черноглазая девица.

Она берет книгу, отыскивает страницу и принимается за чтение.

Андрей Иванов краснеет и обидчиво возражает:

— Не постигаю-с! Не могу даже постигнуть-с!

Косматая голова переходит на свободное место против "москвича", который только скашивает на нее глаза, но прямо не взглядывает.

Андрей Иванов, желая, вероятно, показать, что его пренебрежение черноглазой девицы мало трогает, обращается к косматой голове:

— Далеко изволите ехать-с?

— В деревню.

— По найму-с?

— Нет, без найма.

— А! В гости, стало быть. К помещикам-с?

— К родителям.

— А! Вы в Питере каким это делом занимаетесь?

— Живу у дяди.

— А дядя-то в каком положении-с?

— Служит.

— Гм! И хорошо-с?

— Ничего.

— Много получает-с?

— Тысяч четыреста в год.

— Что-о-о-с? Да он кто ж такой-с?

— Он…

Тут косматая голова выговаривает такую важную и известную фамилию, что Андрей Иванов изменяется в лице. "Москвич" заметно вздрагивает, и даже черноглазая девица переводит глаза с книги на него.

Только не шевелится украинка, которая все остается с закрытыми глазами.

— Шутите-с? — произносит, именно не говорит, а произносит Андрей Иванов.

"Москвич" внимательно оглядывает косматую голову с ног до маковки.

Этот осмотр его, по-видимому, успокаивает.

— Что за шутки! — отвечает косматая голова.

— Родной дяденька-с?

— Самый родной. Родней и не бывает.

"Москвич" не произносит ни слова возражения, но глаза его неподвижно устремляются на грудь косматой головы, на те именно места, где остаются признаки отсутствующих пуговиц на потертом пиджаке.

— Да,— говорит косматая голова,— да! Провинился я перед дядюшкой! Вообразите, картежничал семь суток! Проиграл пятьдесят тысяч, лошадей, часы — все!

— Ах, несчастье-с какое примерное! — вскрикивает Андрей Иванов.

Это его восклицание совершенно не похоже на все предыдущие. В нем слышится что-то похожее на заискивающий визг маленькой шавки, очутившейся перед большим, хотя и облитым из кухни горячей водою, водолазом или другим каким большим псом.

"Москвич" пока ничего не выражает словесно, но глаза его умасливаются и он, подобно гелиотропу, обращающемуся невольно к солнцу, оборачивается к племяннику "дяди".

Черноглазая девица опять принимается за чтение.

Впрочем, время от времени она поглядывает на косматую голову и на подвижном лице ее ясно тогда читается: как однако же можно ошибиться!

Духота невыносимая. Андрею Иванову хочется до смерти почать апельсин, который чуть не испекся в его мясистой руке, но он считает недозволительным делать это при племяннике важного лица и потому только вертит этим плодом.

— Фу, какая жара! — говорит косматая голова.

— Мучительная,— отвечает с чувством "москвич".— Жажда мучит...

— Да, скверно!

— Нельзя ли у кондуктора воды достать, как вы думаете?

"Москвич" в этих простых, казалось бы, словах искусно выражает что-то особое,— "симпатию душ", как говорится еще в Москве.

— Не угодно ли? — робко спрашивает Андрей Иванов, снова воздвигая свой апельсин на три перста и представляя его "племяннику".

— Спасибо,— отвечает благосклонно тот, берет апельсин, чистит, первый кусочек кладет себе в рот, второй протягивает черноглазой девице, кивком приглашая ее принять участие в пиршестве.

Рука его, вытянувшись во всю длину, обнаруживает распоротый шов рукава.

Но это уже не шокирует ни "москвича", ни Андрея Иванова, потому что ведь шов распоролся не от нужды и горя, а от размаха широкой русской натуры, той натуры, которая особенно хорошо развивается на "собственных" полях нашей обширной родины.

Черноглазая девица взглядывает и резко говорит:

— Не хочу!

— Напрасно! — замечает косматая голова.— Напрасно.

Только что он успевает съесть апельсин, "москвич" предлагает ему тонкую сигару.

И сколько симпатии он при этом выражает одним склонением своего грузного, но гибкого туловища!

— Кажется, недурна,— говорит он задушевным голосом,

— А вот увидим! — отвечает косматая голова.— Очень обязан.

— Огню!

— Очень признателен!

Оба начинают курить.

— У вас настоящая русская размашистая натура! — говорит как-то из груди "москвич".— Одна из тех натур, что как степь необозримая…

Поезд останавливается. Опять суета, давка, шум и крик.

Косматая голова встает, направляется к выходу, приостанавливается на пороге и, не выпуская сигары изо рта, говорит:

— А ведь *** мне не родной дядя!

Андрей Иванов поднимает вверх клинообразную бородку, "москвич" покрывается тенью.

— И даже совсем не дядя,— прибавляет жестокая косматая голова,— я не картежничал, я только нахвастал, и имя мне не степь необозримая, а — ничто.

И он скрывается.

Андрей Иванов, придя в себя, разражается потоком оскорбительных прозвищ. "Москвич" до того взбешен, что язык у него как бы отнимается.

Зато как торжествует черноглазая девица!

Даже украинка просыпается.

В вагон входит дама в дорогом шиньоне и изящном летнем туалете, с книжкой в руках, так сказать, дама безличная, хотя и обладает она довольно некрасивым лицом.

За дамой входит еще коренастый молодой человек в каком-то, по всем признакам, модном сюртучке: лацканы в виде распяленных крыльев летучей мыши, сердцеобразный вырез на груди являет тонкую, накрахмаленную колом рубашку с

буфами; на руках светло-лиловые перчатки, на голове шотландская шапочка, галстук яркий полосатый, вид, хотя дикий, но вместе с тем довольно самоуверенный, глазки узенькие, подбородок тупой.

Если бы молодые вепри одевались в модные костюмы и ездили по Николаевской железной дороге, они имели бы совершенно то же выражение морды.

Рассаживаются по местам. Дама открывает книгу, судя по формату, французский роман; молодой человек вынимает из кармана надушенный платок и нюхает.

Даму книга, однако, мало занимает; она высовывается из окна и начинает следить за снующими по платформе фигурами.

Поезд трогается.

"Москвич", несколько успокоившись, оглядывает новоприбывших подозрительно.

Вдруг лицо его просветлевает. Он вскрикивает:

— Помпей Петрович! Вы ли это?

И протягивает обе руки к господину с лацканами наподобие крыльев летучей мыши.

— Ах! — отвечает Помпей Петрович.— Ах, Павел Иларионович! Как приятно!

— Куда бог несет?

— В Москву.

— Очень рад, очень рад. Прямо ко мне обедать. Слышите? Прямо!

— Благодарю вас. Непременно. Я долгом почту, и это такой приятный долг…

— Спасибо, спасибо, милейший! Как счастлив ваш батюшка, что вы не похожи на нынешнюю молодежь!

При словах "нынешняя молодежь" Помпея Петровича всего передергивает, и глазки его вдруг начинают наливаться кровью.

— Да, счастлив он, счастлив! — повторяет "москвич" с глубоким вздохом, изгоняющим целую струю пыли из вагона.— Помните: на вас одних, непричастных царствующему теперь нравственному разврату, покоятся судьбы отечества и все святые предания старины, завещанные нам могучими нашими дедами! Ужасно, чтó теперь у нас совершается!

— Да, ужасно! — отвечает Помпей Петрович.— Мужики развращены так, что ничего нельзя устроить. Я хотел сделать улучшения… улучшения… Ничего невозможно устроить!

— Бедный народ! Он не виноват! Он ведь как чистый младенец: злодей завертывает его в свою порочную мантию, а он ясно улыбается и не провидит растлевающего прикосновения нечистых рук!

— Вы смотрите на народ так… так… Вы представляете себе его таким… таким добрым, потому что вы не живете в деревне! — возражает Помпей Петрович, свирепея и по мере этой

одолевающей свирепости как бы прихрюкивая.— Поживите вы с народом, так скажете другое! Такого мошенничества нигде больше не сыщете! Вор на воре, разбойник на разбойнике! Ничего нельзя устроить у себя в собственном имении!.

— Нет, друг мой! Нет! Народ не испорчен,— он соблазнен,— и, повторяю, соблазнен, как чистый младенец! Я верю, придут лучшие времена, когда вся скверна спадет с него, как чешуя с очей апостола Павла, и он поклонится правде и добру!

— Это потому, что вы не живете в деревне! — возражает еще с большей свирепостью и с сильнейшим прихрюкиванием Помпей Петрович.— Ведь ничего нельзя устроить, как хочешь! В своем собственном имении!

— Да,— вмешивается дама в дорогом шиньоне,— даже женщины теперь ужасно развращены нравами! Вот у меня в деревне тоже такие все неприятности. Я веду просто страдальческую жизнь. Знаете, даже боюсь жить одна. Я очень кроткого характера,— мне неприятно всякое буйство. Я взяла гувернантку больше потому, чтобы не жить одной. Дети в ней не нуждаются,— они еще малы.

— Позвольте спросить, откуда вы взяли гувернантку? — спрашивает "москвич", наклоняя туловище вперед каким-то тоже "задушевным" манером.

— Из Петербурга.

— Позволите вы мне сделать маленькое замечание?

— Ах, пожалуйста!

— Все, что из Петербурга, нравственно подточено.

— Как?

— Я хочу сказать, что все петербургские проникнуты порчею — так называемыми современными идеями.

— Не все! — с упованием восклицает дама.

— Все-с. Мне грустно сказать это, грустно выводить вас из отрадного заблуждения, но правда выше всего! Петербургские женщины…

Тут Помпей Петрович так вскрикивает, как будто петербургские женщины отодвинули от него корыто самого дорогого месива:

— Там все женский вопрос!

— У нас тоже говорили об этом женском вопросе,— вздыхает дама.— Но это так. Потом все прошло.

— Это какой же-с женский вопрос? — вмешивается Андрей Иванов, с умильной улыбочкой обращаясь к даме.

— Университеты… Я, право, хорошенько не знаю сама,— отвечает дама, вздыхая.

— А! Это, видно, насчет обучения наук-с! У нас тоже по Москве ходят такие эпидемии-с… Даже между купечеством появляются-с.

— Неужели?

— Истиино-с.

"Москвич" высокомерно на него взглядывает, как бы желая сказать: "Опять? Ты опять? Предупреждаю, даром не пройдет!"

Андрей Иванов понимает этот язык взоров и, переводя умильную улыбку к "москвичу", замечает:

— Я тоже люблю Москву-с. Тоже моя родина-с. Вы напрасно только сомневаться изволили!

"Москвич" не поддается, однако, этому выражению симпатии и ответом, ниже улыбкой не удостаивает.

Андрей Иванов продолжает:

— Да-с, ходит даже между купечеством. Только ведь тут не лафа-с: живо обрабатывают-с. Вот, к примеру говорить, у меня сосед, купец, богатый человек-с, и у него дочь, прекрасная девица. И все сначала шло в благополучном порядке-с,— даже за офицеров замуж не хотела-с,— и вдруг-с обезумела: "Учиться буду! Учиться хочу!" И никакого сладу с ней нету,— все одно что одержимая-с. Родители испугались до смерти-с, повезли ее сейчас в Троицкую лавру-с, служили молебен-с, поили ее святой водой, прикрывали митрополитскими ризами-с, — все не действует! Там, было, и поунялась, а приехали домой — снова безумствует-с. Отец думал-думал, а потом разложил ее и посек-с. И как помогло-с! Просто как рукой сняло-с!

— Мерзавец! — раздается вдруг звучный взволнованный голос.

Дама "очень кроткого характера", которой "неприятно всякое буйство", с испугом обращает бесцветные глаза в ту сторону.

Но черноглазая девица овладевает собою. Только легкое дрожание руки, перевертывающей листы книги, обличает ее волнение.

— Не удивляйтесь! — говорит с грустной улыбкой "москвич" даме.— Не удивляйтесь!

— Не извольте обращать внимания-с! — говорит Андрей Иванов.— Когда-нибудь посекут-с и тоже поможет-с…

И он заливается умильным, дробным смехом.

"Москвич" сдается и дарит улыбкой одобрения. Помпей Петрович издает хрюк ликования.

Дама показывает зубы, напоминающие обгорелый забор.

Между тем уж свечерело. Кондуктор зажигает огни; бóльшая часть пассажиров умащивается и тотчас же засыпает.

Среди наступившего безмолвия раздаются отрывки речей.

— Без бедных свет даже не может стоять-с, потому спасенье души в этом для всех-с: бедные спасаются терпением-с, а богатые милосердием к неимущим-с. Круговая порука-с. Ты сподобляешься царства небесного за то, что прострадал, а я за то, что к твоим нищетам сожаление имел,— и в писании сказано-с: "Носите тяготу друг дружки", сказано-с…

— Ничего нельзя устроить в своем собственном имении!

— Я верую в светлое будущее!

— Неужели!

Пролетела ночь. Сияет яркое, жаркое утро.

"Москвич" мычит во сне. Андрей Иванов похрапывает, Помпей Петрович ежится на диване в тревожной дремоте, как оторванный от привычного логова. Дама очень кроткого характера, не представлявшая и с вечера прелести, теперь, когда дорогой шиньон ее сбился на сторону и рот разинулся, решительно никуда не годна.

Черноглазая девушка крепко спит. Во сне она положила голову на плечо соседки, поименованной "москвичом" "дитятей пышной Украйны".

Соседка уже проснулась. Она бережно приподнимает склонившуюся на ее плечо голову, кладет ее себе на колени и долго смотрит на это спящее лицо.

Какое честное, смелое, прекрасное лицо! Видно, что эти губы не раскрываются для лжи.

Она взглядывает на свесившуюся руку. Какая сильная, рабочая рука! Вовсе не сахарные пальчики!

Она смеется от удовольствия и тихонько целует в лоб спящую.

Кажется, она думает: "Нет ничего на свете лучше честного человека!"

Вслед за этим приятным чувством является невеселое раздумье: "Кто ты такая? Что с тобой будет? У какой пристани очутишься?"

— Москва! Москва! — вдруг вскрикивают со всех концов.— Москва видна!

———————

1 Платон мне друг, но истина дороже всего (латинская пословица).

2 Где ты? Где ты? (Франц.) — Ред.

3 Дай ему что-нибудь! (Франц.) — Ред.

4 Но… (Франц.) — Ред.

5 Что "но"? Дай ему что ни-будь, говорю тебе! (Франц.) — Ред.

6 Я не смею… (Франц.) — Ред.

7 Это очень мило! (Франц.) — Ред.

8 Это очаровательно! (Франц.) — Ред.

9 Милый Альбрехт или милый Вильгельм (нем.). — Ред.

10 Прощайте! прощайте! (Франц.) — Ред.

11 Ах, милый боже! (Нем.) — Ред.

12 Ах ты, боже мой! (Нем.) — Ред.

13 Искаженное франц. б л а н м а н ж е — десертное блюдо. — Ред.

14 Не беги, Жорж! (Франц.) — Ред..